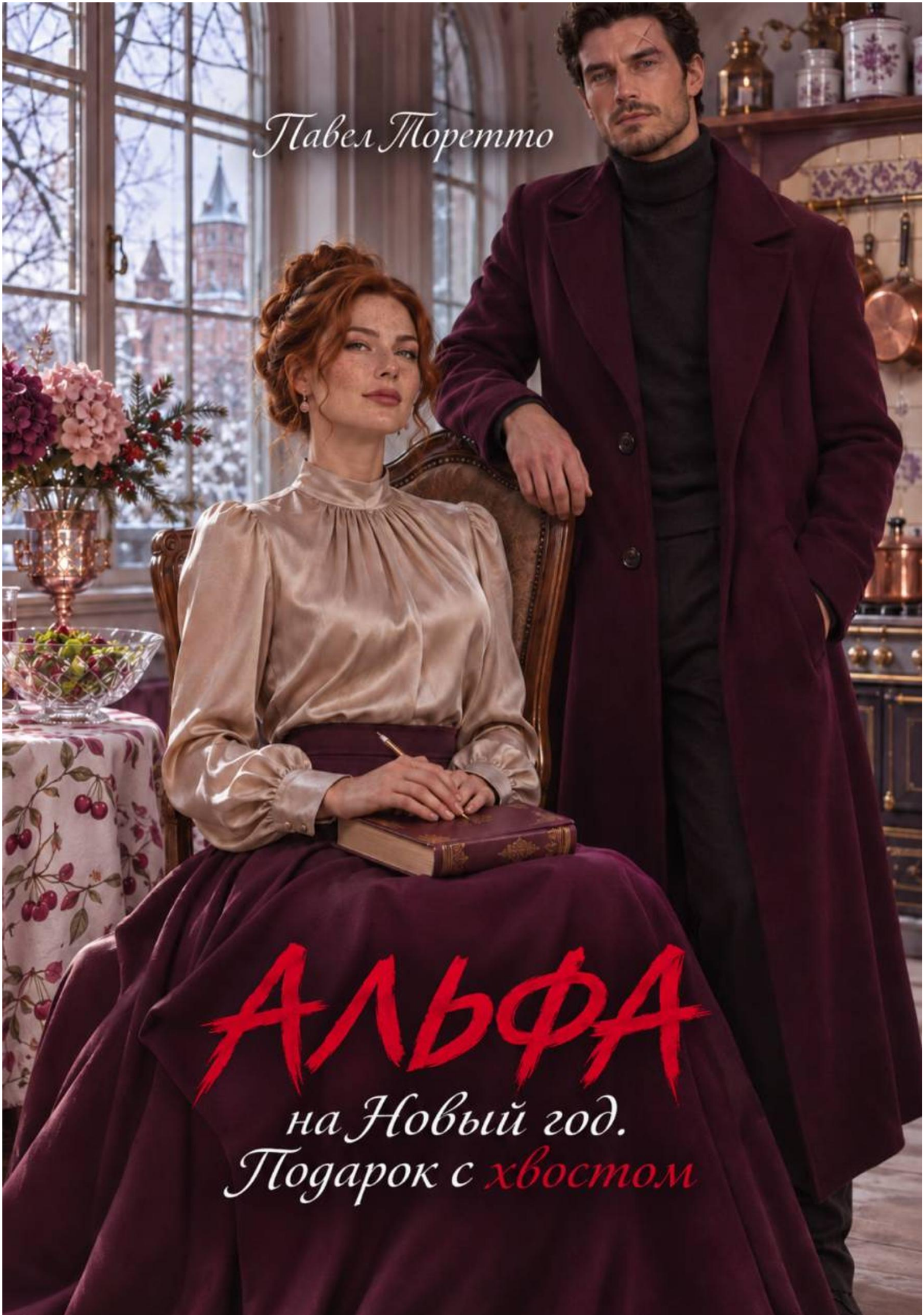
Павел Торетто
АЛЬФА
на Новый год.
Подарок с хвостом

Павел Торетто

Альфа на Новый год. Подарок с хвостом

«Автор»
2026

Торетто П.

Альфа на Новый год. Подарок с хвостом / П. Торетто — «Автор», 2026

«Не кричи. Я Альфа. И мне нужен твой поцелуй до полуночи тридцать первого».Утром на моей кухне стоял голый мужчина в бабушкиной скатерти. Вчера он был серым псом из приюта, которого подруги подарили мне, чтобы я хоть с кем-то встретила Новый год.Три года назад жених ушёл от меня тридцать первого декабря, прямо из-за праздничного стола, при гостях. С тех пор я выключаю телевизор перед курантами. Мне нужны заказы и крыша без протечек, а не чужие поцелуи.Но пёс никуда не делся. Днём он пишет на доске короткие ответы, ночью становится мужчиной, который ревнует моего кота. Снять проклятие может только поцелуй истинной, если она знает, кого целует.Я назначила цену за перевод старой немецкой хроники его рода: ровно смету на крышу. Но чем глубже в рукопись, тем страшнее правила. Каждый поцелуй отнимает у него разум.Кто наложил проклятие и что за янтарь с каплей крови спрятан на чьей-то шее? Ответ придётся искать до полуночи.При подготовке книги использовалась нейросеть.

© Торетто П., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Чтобы ты хоть с кем-то встретила Новый год 5
Глава 2. Сначала штаны, потом поцелуи 9
Глава 3. Значит, не ты 13
Глава 4. Коптильня пахнет как улика 17
Конец ознакомительного фрагмента. 20

Павел Торетто
Альфа на Новый год. Подарок с хвостом

Глава 1. Чтобы ты хоть с кем-то встретила Новый год

Когда в воскресенье в семь вечера в дверь позвонили, я была уверена, что это курьер с коробкой, которую я ждала с пятницы, а на пороге стояли Римма с Лорой, и между ними, занимая весь проём, стоял огромный серый пёс с красным бантом на шее. Мне в тот день исполнилось двадцать восемь, я собиралась съесть кусок магазинного торта над клавиатурой и лечь спать, но пёс, не дожидаясь приглашения, ухватил зубами рукав моего свитера и потянул меня в дом, как тянут хозяйку, забывшую выключить утюг. Рукав растягивался, я переступала через порог задом наперёд, а подруги за моей спиной уже хохотали, и громче всех, конечно, Римма.

Новый год я не праздновала три года, с тех пор как жених ушёл от меня прямо из-за праздничного стола, и все мои знакомые знали это так же твёрдо, как мой адрес.

– Чтобы ты хоть с кем-то встретила Новый год, Викуль! – Римма втиснулась следом, стряхивая мокрый снег с платиновой стрижки прямо на бабушкин коврик. – Он тёплый, молчит и никогда тебя не бросит! – и она, конечно, засмеялась громче всех.

– Ох, Римма, – сказала я, пытаясь высвободить рукав. – Вы что, с ума сошли? Это же не плюшевая игрушка, это живое существо, оно ест, оно… оно линяет!

– Метис маламута, полтора года, привит, кастрирован не был, но это уже решать вам, – сухо, как на приёме, сообщила Лора и протянула мне папку с приютской печатью. Руки у неё, как всегда, были в свежих царапинах: у себя в «Тёплом носе» она работает с кошками. – Зовут Пельмень. Его привезли в середине декабря, он там воровал копчёную рыбу, и на нём не нашли ни одного чипа. Вик, он единственный из сорока двух, кто глянул на меня так, будто знает, что я думаю.

Кант, мой рыжий девятилетний кот, оценил обстановку быстрее всех. Он спрыгнул с вешалки, прошёл мимо пса на негнущихся лапах, не удостоив того даже взглядом, и с достоинством взобрался на шкаф в прихожей. Оттуда он смотрел вниз так, словно я привела в дом налогового инспектора, а не собаку.

– Нет, – сказала я твёрдо. – Девочки, я вас обожаю, но нет. У меня сдача каталога двадцать пятого, у меня крыша течёт над кабинетом, у меня кот с нервами.

– Вот и хорошо, значит, будет кому тебя выгуливать! – подхватила Римма, уже пятясь к двери. – Мы такси держим, у Лоры смена, ты нас не дослушала, мы потом всё объясним! С днём рождения, Вика! Корм в пакете!

Дверь хлопнула, на лестнице простучали каблуки, и внизу заурчал мотор. Я осталась в прихожей с чужой папкой в одной руке и пакетом корма в другой, а пёс сел посреди коврика, поднял на меня серые спокойные глаза и негромко, почти вежливо вздохнул. Бант на его шее держался на проволоке и торчал во все стороны, как у новогоднего подарка на витрине, и мне почему-то стало жалко и бант, и пса, и себя.

Я набрала Римму, и она, разумеется, не ответила: у неё в салоне по воскресеньям вечерняя запись, а телефон лежит в шкафчике вместе с сумкой. Лоре я написала «Вы с ума сошли?», она ответила одним словом, «Привет!», и добавила смайлик, который я, как человек старой школы, не смогла бы расшифровать даже со словарём. Тогда я достала из холодильника магазинный торт с кремовой розой, отрезала себе треть и воткнула в неё единственную свечу, оставшуюся с позапрошлого года. Свеча была кривая и пахла ванилью.

– Ну, – сказала я вслух, обращаясь то ли к торту, то ли к собаке, которая села напротив и внимательно следила за вилкой. – Ох, с днём рождения меня. Загадывать ничего не буду, потому что в прошлый раз я загадала, чтобы всё было спокойно, и вот результат: у меня дома сидит зверь с бантом, а в раковине гора посуды.

Свеча погасла сама, от сквозняка из-под двери, и пёс чихнул. Я съела свой кусок над клавиатурой, как и собиралась, а розу, не выдержав, отдала ему. Он принял её так деликатно, одними губами, что мне стало неловко за то, что я только что назвала его «зверем».

***

Корм он не стал есть. Я насыпала в миску горсть сухих коричневых шариков, поставила на кухне у плиты, и пёс подошёл, понюхал с видом ресторанного критика и отвернулся. Зато из кастрюли на столе, где у меня остывала порция пельменей, купленных к вечеру в честь собственного дня рождения, он вытащил всё до последнего, пока я искала в папке номер телефона приюта. Я повернулась на звук и застала его с последним пельменем на морде и совершенно невинным выражением.

– Ну конечно, – сказала я. – Вот почему Пельмень. Ты, значит, шутник, да? А мне теперь что на ужин, торт?

Он облизнулся и пошёл осматривать дом. Я шла за ним с кружкой остывшего чая, потому что никак не могла понять, кто тут у кого в гостях. Пёс обнюхал изразцовую печь в гостиной, постоял у бабушкиного дивана, поднялся по лестнице, ни разу не поскользнувшись на старых ступенях, и заглянул в кабинет, где под потолком темнело пятно от протечки. Там он задержался и посмотрел вверх так внимательно, будто прикидывал смету. В спальне пёс обошёл кровать по кругу, а затем лёг на неё поперёк, положил морду на мою подушку и снова вздохнул, с таким облегчением, словно последние десять лет спал на вокзале.

– Ой, нет, – сказала я. – Нет-нет-нет. Пельмень, это моя кровать, у тебя есть коврик, хороший коврик, я не успела его купить, но он у меня в мыслях!

Пёс открыл один глаз, серый, очень спокойный и, честное слово, насмешливый. Я попробовала сдвинуть его за плечи, но он весил как мешок цемента, и я только отдышалась и сдалась. Кант со шкафа в коридоре сказал всё, что думает о происходящем, коротко и по-кошачьи, а пёс даже не повернул головы. Я легла на самый край, под бок к батарее, и долго слушала, как он дышит. Впервые за три года в этом доме кто-то спал рядом со мной, и мне было не страшно, а смешно и немножко обидно, что это собака.

***

В понедельник я проснулась от того, что кто-то мерно, с чувством, ел мой носок. Я открыла глаза и увидела серую морду, которая с видом полного достоинства дожёвывала конец моего шерстяного носка, оставленного на краю кровати. Пёс заметил, что я проснулась, и без малейшего смущения выплюнул остатки на одеяло.

– Это подарок от бабушки, – сказала я сиплым со сна голосом. – Мне её вязание дороже, чем ты стоишь вместе с бантом. Пельмень, ты понимаешь, что такое семейная реликвия? Нет? Ну и ладно, я сама тоже иногда не понимаю.

Я встала, надела второй носок, пока он не добрался и до него, и пошла вниз варить овсянку. Овсянку пёс не тронул, зато выпил всю воду из миски, потом из чашки, которую я забыла на столе, и только потом, насытившись водой, величественно проследовал к входной двери и сел перед ней, давая понять, что завтрак окончен и пора на работу.

***

Сразу за порогом выяснилось, что гулять он умеет только в одну сторону. Я надела на него ошейник из пакета Лоры, пристегнула поводок и вышла на улицу Кутузова, где мокрый снег лежал на заборах серой кашей, и пёс сразу потащил меня к перекрёстку с таким упорством, что я два раза чуть не потеряла сапог. Он не нюхал столбы и не интересовался кошками из чужих дворов. Он шёл, как ходят на работу: прямо, быстро и с выражением человека, у которого дела.

– Куда ты, там же ничего нет! – кричала я, пока мы пересекали Амалиенау, пропуская троллейбус и женщину с санками. – Пельмень, стой, у меня одышка! Я переводчик, а не хаски!

Он вывел меня к автовокзалу, остановился у платформ, где грузились автобусы на север, и долго следил за уходящим в сторону Зеленоградска синим «Икарусом». Потом сел прямо на мокрый асфальт и скулить не стал, а просто сидел и смотрел, и от этого мне стало не по себе сильнее, чем от любого воя. Я потянула поводок, он не двинулся с места, и мне пришлось уговаривать его, как упрямого ребёнка у витрины с игрушками: сначала по-хорошему, потом с угрозами, потом с обещанием колбасы. Тётка из ларька с шаурмой, наблюдавшая за нами через окошко, сочувственно крикнула, что у её сестры такой же, только рыжий и глупее, и что «им главное показать, кто в доме главный». Я ответила, что по этому вопросу у нас пока нет единого мнения, и она одобрительно захохотала.

На обратном пути у нашей виллы нас ждала Инга Фёдоровна, моя соседка по второй половине дома, бывшая учительница немецкого. Она стояла на балконе второго этажа в мужской ушанке, с биноклем на шее, и разглядывала нас с таким интересом, словно мы выступали в цирке.

– Гутен морген, деточка, – сказала она сверху. – Ты теперь с собакой?

– Доброе утро, Инга Фёдоровна. Это подарок, я не просила, я не готова, и он, кажется, считает, что это я у него живу. – Я подтянула поводок, потому что пёс как раз взялся изучать её клумбу под снегом.

Инга Фёдоровна поднесла бинокль к глазам, разглядывала его долго и серьёзно, а потом опустила и покачала головой.

– Это не собака, деточка, – сообщила она тоном, каким объявляют оценку за диктант. – Я в этом понимаю, у нас в детстве такие ходили. У собак глаза другие.

Я засмеялась, потому что не смеяться было нельзя: у неё в бинокле, наверное, уже месяц жили все подозрительные личности Амалиенау, от почтальона до дежурного электрика. Но пёс повернул голову и встретился со мной глазами, и мне вдруг показалось, что он тоже слышал её слова и тоже решил не отвечать.

***

Вечером я села за каталог. До двадцать пятого оставалось четыре дня, а Хайке Венцель из Гамбурга уже дважды писала мне вежливые письма со словами «когда Вам будет удобно», что на деловом немецком означает «вчера». Я переводила описания ёлочных игрушек для её фабрики: стеклянные шары с инеем, фигурки гномов, золотые шишки с росписью ручной работы. «Каждая шишка помнит тепло рук мастера», – читала я и фыркала, потому что у меня в кабинете холодно, как в чужом гараже, а о тепле чьих-то рук я за последние годы успела забыть.

– Слушай, Пельмень, – сказала я, не оборачиваясь. – Вот какая тут проблема. Они хотят, чтобы покупатель почувствовал уют. А я в декабре чувствую только мокрые носки и срок сдачи. Как мне писать про уют? «Эта шишка согреет вас лучше, чем бывший муж»? Хотя у меня и бывшего мужа нет, так что и сравнивать не с чем.

Он лежал на подоконнике, то есть занял подоконник вместе с горшком герани, которую уронил на пол и даже не поморщился. Луна в тот вечер была огромная, мутная, зимняя, и пёс не отрывал от неё глаз. Я подошла и попыталась погладить его по шее, но он дёрнул головой, отодвинулся, и в его глазах не было ни злости, ни страха, а только странная, почти человеческая сосредоточенность. Я отдёрнула руку.

– Ну и ладно, – сказала я. – Я тоже не люблю, когда лезут. Сиди смотри на свою луну, она хотя бы не линяет.

Телефон на столе дважды пискнул. Римма наконец вышла из своего салона и написала мне сразу три сообщения подряд, с кучей восклицательных знаков: «Ну как он?», «Он тебя не съел?» и «Ты же не отдашь его обратно, Вика, мы так старались!» Я напечатала в ответ, что он съел все мои пельмени, сломал герань и спит на моей подушке, а потом добавила: «Но ты

права, он тёплый». Нажала «отправить» и тут же пожалела, потому что Римма ответила целой строкой сердечек.

К полуночи я дописала страницу про шишки, почистила зубы, подобрала с пола осколки горшка и легла на свой край кровати, потому что пёс к тому времени уже перебрался обратно и занял середину. Было почти двадцать три часа, на улице заходился ветер, мокрый снег скребся в стекло. Я успела подумать, что за два дня в доме стало шумно и пахнет псиной, а на душе почему-то теплее, чем в прошлое воскресенье. Потом я заснула.

***

Грохот разбудил меня в 5:40, я посмотрела на часы раньше, чем поняла, что случилось. На кровати никого не было. Подушка вмялась в форму собачьей морды, одеяло сползло, а внизу, на кухне, что-то упало, покатилось и разбилось, и следом послышался негромкий, очень человеческий вздох.

Я не сразу осознала, что делаю: лежу, вцепившись в одеяло, и считаю собственное дыхание, как считают шаги в темноте. В доме могли быть воры, могли быть газ и короткое замыкание, могла быть Инга Фёдоровна, которая каким-то чудом перебралась через стену, но ни одно из этих объяснений не объясняло вздоха. Так вздыхают не собаки. Так вздыхает человек, которому очень хочется есть и очень неловко в чужом доме.

Я не помню, как слезла с кровати. Помню только, что нащупала в углу у шкафа швабру, которую вчера туда поставила, и что босые ноги у меня на лестнице были ледяные. Кант сидел на перилах первого этажа, весь взъерошенный, и смотрел в сторону кухни, как глядят на пожар. Я спустилась на последнюю ступеньку, подняла швабру, как копьё, и заглянула в дверь.

У плиты стоял голый мужчина. На нём, кажется, было только бабушкино скатертное полотно с вишнями, которое лежало у меня на диване в гостиной, и он придерживал его на бедре одной рукой. Другой рукой он держал открытую дверцу холодильника и, судя по всему, ел кусок сыра, который я купила в пятницу для бутербродов. Он был огромный, под два метра ростом, тёмно-русый, с серыми глазами, и через левую бровь у него шёл белый тонкий шрам. На полу у его ног лежала разбитая банка с огурцами, и рассол медленно расплывался по плитке к моим босым ногам. Банку мне подарила Лора в позапрошлом году, огурцы были её мамины, и я хранила их на особый случай, который, видимо, наступил. Надо же, подумала я с неожиданной ясностью, ведь именно сегодня я собиралась в первый раз за долгое время помыть пол как следует.

Пса в доме не было. Я успела это отметить так же отчётливо, как то, что у меня замёрзли пальцы на ногах: нигде, ни на кровати, ни на лестнице, ни в коридоре, ни на кухонном коврике, где ему полагалось спать по моему плану.

Мужчина заметил меня, перестал жевать и медленно, очень спокойно положил сыр на полку. Потом поднял обе руки на уровень плеч, ладонями вперёд, и скатерть, конечно, поползла вниз. Он поймал её локтем и глянул на меня с таким терпеливым выражением, как будто это я явилась ночью в его дом.

Я набрала в грудь воздуха, чтобы закричать так, как не кричала с девяносто восьмого года, когда родилась.

– Не кричи, – сказал он. – Я Альфа. И мне нужен твой поцелуй до полуночи тридцать первого.

Глава 2. Сначала штаны, потом поцелуи

Я всё равно закричала, долго и с переливами, так, что у соседей через забор, наверное, залаяли даже те собаки, которых у них нет. Крик вышел не совсем тем, который я собиралась выдать, потому что в середине он сорвался на визг, а в конце превратился в «а-а-а» на одной ноте. Мужчина с поднятыми руками поморщился и закрыл глаза, а Кант, наблюдавший за всем с перил, вдруг сорвался вниз, пролетел через кухню на бреющем полёте и приземлился ему на спину всеми четырьмя лапами.

– Гхм, – сказал мужчина, не опуская рук. – Я понимаю, что это выглядит неудачно. Но если ты сейчас уберёшь кота, я обещаю, что не сдвинусь с места.

– Это мой кот, и он сам решает! – Я наконец замолчала, потому что в горле запершило, и сжала швабру обеими руками. – Кто вы такой, как вы вошли, где моя собака?

– Я как раз об этом и хотел поговорить, – ответил он очень спокойно, как будто извинялся за опоздание на совещание, и аккуратно стащил Канта с плеча, придерживая скатерть подбородком. Кант повис у него на предплечье и укусил, но без когтей, как кусает человека, которого скорее проверяет, чем ненавидит.

Швабра у меня в руках быстро показалась слишком лёгкой. Я шагнула к плите, сняла с крючка бабушкину чугунную сковородку, ту самую, на которой она тридцать лет жарила блины, и взвесила её в ладони. Мужчина проследил за этим движением с таким видом, словно оценивал не угрозу, а качество сковороды.

– Я понимаю, что ты держишь эту сковородку не для яичницы, – проговорил он неторопливо, – и я на твоём месте поступил бы так же, но давай сначала я договорю, а потом ты решишь, куда бить. Меня зовут Богдан Ольховский, я глава стаи «Коса», это в Морском на Куршской косе, и двенадцатого декабря ночью в дюнах на меня напали сзади. Я не видел кто. Очнулся я уже зверем, в шкуре, из которой не мог выйти, а в ночь солнцеворота, то есть вчера вечером, мне вернули облик до рассвета. Пёс на твоей кровати был я. Бант, к слову, колется.

Я стояла со сковородкой, как человек, которого разбудили среди ночи и сообщили про налоговую проверку. Первым делом я подумала, что сплю. Вторым, что я переработала над каталогом. Третьим, самым неприятным, что мне не мерещится: на плите правда стоял мой чайник, в скатерти с вишнями правда стоял голый чужой мужчина, и пахло от него почему-то морем, дымом и мокрой шерстью.

– Ну конечно, – сказала я. – Оборотень. Вы знаете, у меня сегодня всё утро по плану: умыться, выпить кофе, сдать страницу про шишки. Про оборотней в плане было пусто.

– Мне нужно, чтобы ты меня поцеловала, – сказал он. – Я не шучу и не извиняюсь, это нужно сделать до полуночи тридцать первого декабря, иначе я останусь тем, кем ты меня видела, навсегда. В первую же ночь рядом с тобой зверь впервые за восемь дней уснул. Это что-то значит, и я хочу проверить, что именно.

– Ох, – выдохнула я и всё-таки перехватила сковородку поудобнее. – Нет. Сначала штаны.

– Что?

– Сначала штаны, потом поцелуи, потом, может, разговоры. У меня в доме голый мужчина в бабушкиной скатерти, на ней, между прочим, вышивка ручная, а вы её уже на пол ронять собрались. Стойте тут. Никуда не двигайтесь. Кант, охраняй.

Кант, к моему удивлению, уселся на холодильник, обернув хвостом лапы, и уставился на него янтарным глазом. Я вышла из кухни, поднялась на второй этаж и долго стояла в кабинете перед антресолью, потому что не могла вспомнить, где лежит коробка, и не могла вспомнить, как дышать. В итоге я достала с верхней полки картонный ящик, в котором с позапрошлой зимы хранились вещи, выброшенные из моей жизни, но слишком хорошие для помойки.

Серый шерстяной свитер Роберта лежал сверху. Он, конечно, пах всё ещё чужим одеколоном, и мне пришлось отвернуться, пока я искала под ним спортивные штаны с затёртыми коленями.

Когда я вернулась, Богдан стоял в той же позе, а Кант ни на миллиметр не сдвинулся. Я бросила одежду на стул, и мужчина взял свитер двумя пальцами, как берут чужое письмо, повертел в руках, понюхал воротник и хмыкнул.

– Мм, – протянул он. – Чей-то мужской. Выбросить не смогла, надеть не можешь, а для меня как раз.

– Для вас в самый раз, – огрызнулась я, отворачиваясь к окну. – Одевайтесь, пока я не передумала и не вызвала кого-нибудь с сиреной.

За спиной шуршало, трещали швы, потому что свитер он натянул на плечи с видимым усилием, а треники закатал до щиколоток: ростом он был выше Роберта на целую голову. Я разглядывала мокрый двор за окном, тёмные ветки яблони и Ингин балкон, где уже зажёгся свет. Она, конечно, встаёт в шесть, чтобы застать утренний обход почтальона.

***

С семи до начала десятого мы сидели на кухне друг напротив друга, и между нами стоял чай, который я заварила скорее для того, чтобы занять руки. Сковородка лежала на столе, на видном месте, чтобы он не забывал. Богдан держал кружку обеими ладонями, внимательно разглядывал её рисунок, подсолнухи на синем, и говорил так, как говорят люди, привыкшие, что их слушают.

– Закрой, пожалуйста, шторы, – попросил он. – Не потому что я стесняюсь. Просто если на мне кто-то увидит эту одежду из окна, твоя соседка запишет это в блокнот, и тогда мне придётся объяснять её внукам, что я не вор.

– У неё нет внуков, – сказала я и всё-таки закрыла. – Откуда вы знаете про блокнот?

– Я видел её на балконе вчера, мне хватило времени, пока ты вела меня по Кутузова. И я тебя прошу: не звони подругам. Той, у которой стрижка, и той, у которой руки в царапинах. Они хорошие девушки, насколько я мог судить по тому, как они меня привезли, но если они узнают, у них не получится молчать, а мне нельзя, чтобы обо мне говорили.

– Это вы мне приказываете? В моём собственном доме?

– Я тебя прошу. Приказывать мне привычнее, так что я стараюсь, – ответил он и вдруг, к моему удивлению, чуть улыбнулся одним углом рта. От улыбки шрам над бровью стал заметнее, и лицо перестало быть страшным. – Мне нужно в ближайшие девять дней не умереть, не попасть в приют и не превратиться ни на день позже срока. Проклятие, если это оно, срабатывает так: пока Новый год не наступит, у меня есть шанс. Потом нет. Облик возвращает поцелуй истинной, но я не знаю, ты ли это. Я хочу просто проверить, как проверяют ключ в замке.

– То есть я для вас ключ, – сказала я, и голос у меня предательски дрогнул. – Ну конечно. А вы, значит, пришли с замком, и вам всё равно, чей это замок.

– Мне не всё равно, – отозвался он. – Мне только не хочется врать тебе в первое же утро. Я знаю, что это звучит неловко, и я бы на твоём месте тоже обиделся. Гхм. Но ты спросила, чего я хочу, и я отвечаю.

– Кто вас проклял?

– Не знаю. Я думаю на Самбийскую стаю, они давно хотят нашу косу и торгуют по соседству. Но доказательств нет, а те, на кого я подумал, никогда не стали бы делать это своей кровью.

Он сказал это легко, будто речь шла о соседской ограде, и тут же замолчал, нахмурившись. Я решила пока не спрашивать, что значит «своей кровью», потому что в голове у меня и так творился хаос: чайник, сковородка, пёс, ёлочные шишки, Хайке Венцель с её «когда Вам будет удобно». Я встала, достала из шкафа сухари, поставила на стол, потому что в голодном состоянии люди не могут воспринимать фантастику, и снова села.

– Объясните мне ещё раз, но медленно и с самого начала, – попросила я. – Как переводчик. Вы говорите «до Нового года». До какого именно часа? Если по Москве, то здесь на час раньше, и нам нужно знать, чьи куранты считать.

– До местной полуночи, – сказал он, и я с удивлением заметила, что в его глазах мелькнуло уважение. – Ты первая, кто спросил именно это. Ночь солнцеворота вернула меня на время, до рассвета. Днём, если ты поцелуешь меня при целом проклятии, облик продержится до ближайшего утра, потом снова зверь. Это я знаю. А как всё закончится навсегда, я не знаю: нужно разобраться. Мне надо добраться домой, в Морское. У меня там…

Он осёкся, и я увидела, как у него сжались пальцы на кружке. Он вглядывался в окно, в тонкую полоску света между шторами, и лицо у него стало другим: напряжённым, как у человека, слушающего далёкий звук.

– Что? – спросила я. – Что такое?

– Светает, – сказал он. – Ты не засекла время?

Я посмотрела на часы над плитой. Было двенадцать минут десятого.

– Девять двенадцать, – сообщила я. – А что?

– Тогда я тебе должен сказать быстро. Ты ничего не бойся, это больно только в первые секунды, и я заплачу тебе любую…

Он не договорил. Он побледнел, согнулся, как от удара под рёбра, и рухнул на колени, а потом и на ладони, и я услышала, как под серой шерстью что-то хрустнуло, будто сломали ветку. Свитер Роберта затрещал по швам, спина выгнулась, шея вытянулась и пошла густой серой шерстью, и всё это произошло с такой немыслимой, бытовой скоростью, как убегает молоко, пока отвернёшься к раковине. Треники сползли с задних лап. Через пару секунд на моём кухонном полу сидел огромный серый пёс с надорванным левым ухом, белым пятном на груди и очень виноватым выражением на морде, а вокруг него валялись остатки чужой одежды.

Я села прямо на пол, спиной к дверце шкафа. Там было холодно, пахло шерстью и сыром, и у меня подрагивали колени. Пёс подошёл ко мне, лёг и уложил морду на мои колени, как лёг бы Пельмень, если бы он был собакой, и громко вздохнул, но не заговорил. Чайник за моей спиной остывал. Кант с холодильника наблюдал за нами с брезгливым торжеством человека, который с самого начала был прав.

– Ну конечно, – прошептала я. – Ну конечно, а-а-а, чтоб вас. Всё это правда.

***

Я не стала звонить ни в полицию, ни Римме, ни маме. Я сначала собрала с пола остатки свитера, потом вымыла полы, потому что руки требовали работы, а потом села за ноутбук с таким видом, будто собиралась читать ему лекцию. Пёс улёгся у моих ног. Я набрала в поисковике «коптильня Ольха Морское» и, не веря, что что-то найду, открыла первую же ссылку.

Сайт оказался простым и симпатичным, с бежевым фоном и фотографиями копчёного угря в соломе. Внизу была страница «О нас», а на ней Богдан: в кожаном фартуке, на фоне больших бочек, тёмно-русый, широкоплечий, со шрамом через бровь, суровый, как у человека, которого заставили улыбаться ради камеры. Я разглядывала фото так долго, что пёс поднял голову, посмотрел на экран, на меня, снова на экран и очень отчётливо вздохнул.

– Значит, не врёте, – сказала я. – Владелец коптильни. Ну, это радует: хотя бы не безработный, так что заплатить вам, возможно, и правда есть чем.

Он положил подбородок на мою тапочку. Я не стала его гладить, но и ногу не убрала. Сидела, слушала, как гудит батарея, и не отводила глаз от экрана. Я решила, что ничего не решу до вечера. Поеду в магазин за кормом, отнесу в мастерскую швабру со сломанной ручкой, сделаю три страницы каталога, а потом подумаю, что делать с собакой, которая вчера была мужчиной, и с мужчиной, который утром станет собакой. С тем, что в меня верят как в ключ, я справлюсь позже. Я вообще умею откладывать, это моё главное профессиональное качество.

Днём он спал. Лёг в гостиной у печки, на бабушкин ковёр, положил голову на лапы и посапывал так по-домашнему, что я несколько раз ловила себя на том, что на цыпочках хожу мимо. Кант дважды подходил, нюхал его надорванное ухо, и оба раза уходил, не тронув. К двум часам я дописала описание гномов с колпаками, к четырём перевела три шишки и один глобус с зимним лесом, а в пять уже смеркалось, мокрый снег превратился в тёмную кашу, и я поймала себя на том, что смотрю на спящего пса и думаю не о том, что он оборотень, а о том, что ужинать в одиночестве мне не придётся.

Хуже всего было то, что мне это нравилось.

В девять вечера зазвонил телефон. Я взяла его осторожно, как берут чужого щенка, и отошла на кухню, чтобы не будить пса.

– Вик, слушай, – сказала Лора без приветствия. Она всегда начинает с главного, как на обходе. – Я только что вернулась с дежурства. Такая странная история. Сегодня днём к нам в приют приходил мужчина. Бритый, шея как у борца, на сером УАЗе, номера не наши, калининградские. Спрашивал про серого пса. Крупного, с белым пятном на груди и ухом надорванным.

У меня пересохло во рту. Я сжала край стола так, что побелели костяшки, и посмотрела в сторону гостиной, где лежал на ковре серый силуэт.

– И что вы ему сказали? – спросила я как можно ровнее.

– Ничего. Я сказала, что мы таких не видели, документы все оформлены, любые вопросы через директора. Он ушёл, но сел в машину и сидел минут сорок и караулил ворота. Вик, а у вас всё нормально? Ты же не вернёшь собаку? Он какой-то нехороший, этот мужчина. И знаешь, что самое странное?

– Что?

– Вик, он спросил не про собаку, – сказала Лора. – Он спросил: «Где волк?»

Глава 3. Значит, не ты

В семь утра я сидела на полу гостиной с ножницами, клеем-карандашом и листом картона от коробки из-под обогревателя и приклеивала к нему распечатанный алфавит. Я не спала почти всю ночь. Сначала проверяла, закрыта ли входная дверь, потом проверяла, закрыта ли она ещё раз, потом лежала и слушала, как внизу, у печки, тяжело дышит зверь, который три дня назад был подарком на день рождения, а теперь стал проблемой. К утру я решила, что если уж он умеет думать, как человек, то нужно дать ему способ об этом сообщить. А для переводчика самый простой путь к чужой голове идёт через буквы.

Алфавит я распечатала на А3 крупным шрифтом, нарезала на квадратики и расклеила по картону в три ряда, по-школьному, как в бабушкиной азбуке, а в нижнюю часть добавила три бумажки покрупнее. «ДА», «НЕТ» и ещё одну, которую я написала от руки маркером и очень собой гордилась: «ЕШЬ ЕЩЁ». Пёс лежал рядом, положив подбородок на лапы, и следил за каждым моим движением с тем самым насмешливым спокойствием, которое я вчера мысленно называла «взглядом ресторанного критика». Когда я приклеила букву «Ж» явно криво, он тихо вздохнул, подошёл, ткнулся в неё носом и поправил, сдвинув на полсантиметра влево.

– Ой, – сказала я. – Вы что, ещё и придираетесь?

Он посмотрел на меня так выразительно, что я без слов поняла, что придираться он будет всегда. Потом занёс лапу над доской, помедлил и очень аккуратно, подушечкой, нажал на букву «П». Дальше пошло медленнее: «О», «Ц», «Е», «Л», «У», «Й». Он ставил лапу на каждую букву, как на лёд, проверяя, выдержит ли, и между буквами делал паузы, словно собирался с духом. Я сидела с клеем в руке и смотрела, как слово складывается по частям, а потом он дотянулся до слова «СЕЙЧАС» и написал его так же методично, но заметно быстрее.

– Так, – сказала я. – Вчера вы мне объясняли два часа, развёрнуто, с придаточными, с извинениями за скатерть. А сегодня «ПОЦЕЛУЙ. СЕЙЧАС». Это что за обмен валюты?

Он ответил не сразу. Лапа зависла над доской, дёрнулась, и у меня возникло чувство, что ему самому стыдно за этот телеграфный стиль, но другого у него не было. Пёс опустил голову, потом поднял её и посмотрел мне прямо в глаза: сосредоточенно, терпеливо и совсем по-человечески требовательно.

***

На кухне я поставила его перед собой, взяла за морду обеими руками, как берут большой горшок с цветком, и поцеловала в нос. Нос был холодный, влажный и пах дождём. Я подержала губы на нём секунды три, чтобы всё было честно, по-деловому, как подписывают акт приёмки, отстранилась и стала ждать.

Ничего не произошло. Часы тикали. Кант на шкафу перевернулся с боку на бок. Из крана упала капля. Пёс сидел передо мной, чуть склонив голову набок, и в его серых глазах не было ни надежды, ни разочарования, а только ожидание, как у человека на остановке, когда автобус не пришёл.

Он медленно развернулся, подошёл к доске, которую я принесла на кухонный стол, и выложил лапой, буква за буквой: «ЗНАЧИТ НЕ ТЫ».

Я не понимаю, почему мне стало так обидно. Всё было логично, я ведь и сама не верила во всю эту сказку, и сама не хотела, чтобы эта сказка оказалась правдой. Но обида поднялась откуда-то из живота, горячая и бессмысленная, и я почувствовала, как у меня жгут щёки.

– Да ты вообще, – сказала я, и сама услышала, что говорю «ты», но остановиться уже не могла. – Ты вообще понимаешь, что я сегодня с шести утра не жила, а клеила тебе буквы? Что я на тебя второй день трачу время и сухари, что мне каталог сдавать? Я тебя поцеловала, как последняя дура, в нос, и ты мне пишешь «значит, не ты»? Спасибо за честность, Богдан Ярославович! А я-то думала, ты хоть разок скажешь «извини»!

Пёс отступил на шаг. У него дёрнулось надорванное ухо, а на морде проступило нечто очень похожее на растерянность. Он снова подошёл к доске, замер, и лапа долго висела над буквами, а потом он нажал «И», «З», «В» и остановился.

– Не надо, – сказала я уже тише и отвернулась к окну. – Не пиши. Я сама знаю, что мне не стоило. Просто я привыкла, что когда говорят «не ты», значит, что-то случилось у меня, а не у них. Ладно. Забудь. Чай будешь? А, нет, ты же пёс. Сухарь?

Он вернулся к доске и так же медленно, одним касанием, написал: «ДА». Потом чуть поколебался и добавил: «ТЫ. НЕ ВИНОВАТА».

Я посмотрела на эти четыре слова, смахнула с ресниц что-то лишнее, и мы оба сделали вид, что этого никто не видел.

***

После завтрака я решила, что хватит играть в шарады, и разложила на столе чистый лист. Мне нужна была ясность, а ясность, как известно, любит бумагу. Я написала сверху «ДОГОВОР» и пониже, по пунктам, всё, что Богдан объяснил вчера и что умудрился показать лапой сегодня. Ему нужна была хроника рода, старая немецкая рукопись, которая хранится у него в доме в Морском. Читает её только человек, знающий старый рукописный шрифт, куррент, а в Калининграде таких переводчиков, по его же выстукиванию, ровно один.

«МЫ ЕЁ НЕ ЧИТАЕМ. НИКТО», – вывел он. «ДЕД ЧИТАЛ. ДАВНО».

– Значит, там написано, как снимается проклятие, – сказала я, постукивая ручкой по бумаге. – Или хотя бы как оно ставится. Слушай, Богдан, это не проклятие, это недоделанный договор, и я, как переводчик, такие ненавижу больше всего: одна сторона знает условия, вторая нет, а штраф уже идёт. Поэтому давай так. Я перевожу твою хронику, ты платишь. Работа сложная, срочная, на куррент ставка выше, а у меня крыша над кабинетом течёт, и смета на неё двести сорок тысяч рублей.

Он замер. Мне показалось, что на морде у него появилось выражение человека, которого просят подписать счёт, не показав товара, но потом он кивнул и ткнул лапой в доску: «СОГЛАСЕН».

– Хм, нет, – сказала я. – Ты же у нас не говоришь «согласен». Ты у нас говоришь целыми предложениями. Пиши как следует.

Он вздохнул, и этот вздох был такой тяжёлый, что дрогнули листы на столе. Потом долго, с паузами, набрал: «ДЕНЬГИ ПОТОМ. ПАЛЬЦЕВ НЕТ». И правда, подушечками, без пальцев, переводить деньги или звонить в банк он не мог. Я не удержалась и засмеялась, а потом, глядя на его оскорблённый вид, смеялась уже до слёз, прикрывая рот рукавом.

– Вот это я понимаю деловой подход, – выдавила я. – Тогда в письменном виде: перевожу по главам, акт после каждой, расчёт по факту. Едем завтра. В десять. Я только возьму ноутбук, лупу, очки и термос, и тебе что-нибудь на заднее сиденье, чтобы ты там не сидел как памятник.

***

К полудню мы с ним научились понимать друг друга, хотя бы по самым простым вопросам. Я поставила на пол миску с кашей, которую сварила на воде, потому что корм он по-прежнему презирал, и он съел половину, а потом отошёл к доске. Лапа вывела длинное и сердитое: «НЕ ПЕЛЬМЕНЬ».

– Ой, да ладно тебе, – сказала я, подбирая миску. – Лора придумывала, не я. Хочешь, я буду звать тебя Богдан Ярославович, и тогда Кант, который ревнует, перестанет считать, что ты у нас на правах гостя?

Он помедлил, потом нажал «ДА» и тут же, не давая мне насладиться победой, поставил лапу на «ЕШЬ ЕЩЁ», только перевернул значение: пододвинул доску к миске, где ещё оставалась каша, и уставился на меня вопросительно. Я прыснула. Оказалось, что собственную шутку мне вернули с процентами: ему было жаль, что я вчера не поужинала, и он предлагал разделить его порцию.

– Гхм, как трогательно, – произнесла я голосом Лоры. – Нет, милый, мне нельзя, у меня диета и крыша.

В обед в дверь постучали. Я открыла, придерживая за ошейник пса, который, едва услышал шаги, молча встал за моей спиной. На крыльце стояла Инга Фёдоровна в своей мужской ушанке и в длинном пальто, с пустой стеклянной банкой в руках.

– Деточка, у меня соль кончилась, – сообщила она тоном, которым обычно объявляют войну. – Одолжи ложечку. Ну, и как поживает ваш гость?

– Хорошо, Инга Фёдоровна, – сказала я, не оборачиваясь, и протянула ей солонку. – Он не кусается, не лает и по ночам спит, вам не помешает.

Она не взяла солонку. Она подошла вплотную, наклонилась и очень долго разглядывала пса, а пёс не отводил глаз. Я стояла между ними и чувствовала себя ведущей на очень странном свидании.

– У меня мать, – проговорила Инга Фёдоровна, – в войну жила на самой косе, у моря. Она мне рассказывала, что видела волков. Не лесных, нет. Больших, серых, которые ходят по дюнам ночью и глядят на людей так же, как этот. Мать говорила: не бойся их, деточка, но и не ври им, они чуют.

– Инга Фёдоровна, это маламут, – сказала я так твёрдо, как могла. – Метис. Из приюта. Лора подтвердит.

– Ну-ну, – ответила она, наконец взяла солонку и сощурилась. – Конечно. Метис. Только глаза у него не маламута, ты уж прости старую учительницу.

Она ушла, прижимая банку к груди, а я закрыла дверь и прислонилась к ней спиной. Пёс сел у моих ног, глянул на меня снизу, и мне показалось, что он беззвучно смеётся. Я сказала ему, что это не смешно. Он не согласился.

В три часа дня позвонила мама из Минска, по видео, как всегда в самый неподходящий момент. Я как раз успела спрятать доску за диван, но пёс ходил по комнате, и в кадр попадал то хвост, то ухо. Мама, Иветта Петровна, сидела на своей кухне в шали, с чашкой, и на моём экране выглядела так, как выглядит человек, у которого есть сорок минут на разговор и двадцать вопросов.

– Вика, что там у тебя за спиной шевелится? Это что, собака? Ты завела собаку? Ты?! – Она подалась вперёд и чуть не опрокинула чашку. – Ты же даже кактус боялась брать, говорила, что он тебя осуждает!

– Мам, это подарок. Подруги принесли на день рождения. Он временный, пока… ну, пока не разберёмся.

Пёс в этот момент подошёл к столу, и я не успела его остановить. Он сел прямо перед камерой, опустил голову на бок и посмотрел в объектив так серьёзно и мягко, что мама ахнула, прижала руку к груди и тут же забыла про все двадцать вопросов.

– Господи, какой красавец! Какие глаза! Вика, он у тебя прямо как человек смотрит! Он у тебя на двери вешает ключи?

– Нет, мам, он ключи не вешает, – ответила я и прикусила губу, чтобы не расхохотаться. – Пока.

Мы разговаривали ещё минут двадцать, пока я не перестала бояться, что пёс вдруг заговорит человеческим голосом. Мама успела рассказать, что отчим опять простудился, что в Минске мокрый снег, что она послала мне посылку с вареньем. Про Новый год она, конечно, не спросила. Она давно не спрашивает, и я ей за это благодарна, и мне за это обидно, и это, кажется, одно и то же чувство.

***

Звонок раздался вечером, когда я мыла посуду, а пёс лежал под столом, ссутулившись, как человек, у которого болит спина. Номер на экране был незнакомый, с московским кодом,

но когда я нажала «ответить» и услышала в трубке первую же интонацию, у меня подогнулись колени.

– Привет, Викусь, – сказал Роберт. – Это я. Не бросай трубку, пожалуйста.

Я не бросила. Я стояла посреди кухни с мокрой тарелкой, разглядывала жёлтый плафон над плитой и впервые за три года слышала это «Викусь», от которого меня раньше передёргивало, а теперь просто стало пусто и холодно, как в доме, из которого вынесли мебель.

– Привет, – сказала я. – Слушаю.

– Я в городе. Вернулся из Москвы, всё там закончилось, и я… я многое понял, Викусь. Правда. Мне хотелось бы увидеться, без давления, просто поговорить. Я приеду в пятницу, если ты не против. Можно я зайду? Ненадолго.

Под столом раздался звук. Сначала я решила, что это включился холодильник, но звук был ниже, глубже, он шёл не из стены, а из пола, и тарелка у меня в руках чуть дрогнула. Пёс лежал, оскалив зубы, и смотрел в сторону телефона, и в этом негромком, почти бархатном рычании было столько ненависти, что у меня на секунду пропал голос.

– Вик? Ты там? – спросил Роберт.

– Здесь. – Я вытерла руки о полотенце, хотя тарелка уже выскользнула в раковину. – В пятницу у меня сдача каталога, я не могу. Давай я тебе потом напишу.

– Хорошо. Но я всё равно приеду двадцать пятого, ладно? Просто чтобы ты знала. Я не хочу, чтобы ты думала, что я исчезаю опять.

Он отключился. Я села на табурет, положила телефон на стол экраном вниз и некоторое время рассматривала пустую стену. Так вот чего я боялась все эти три года: вовсе не его возвращения, а того, что мне будет всё равно. Я ждала, что у меня задрожат руки, что я начну оправдываться, плакать, соглашаться. А я только думала, что надо ещё вытереть стол и что завтра рано вставать. Ох, как мало, оказывается, осталось от большой обиды: два слова в трубке и тарелка в раковине.

Потом заметила, что рычание прекратилось. Пёс выбрался из-под стола, подошёл к доске, которую я так и не убрала, и, не сводя с меня глаз, начал нажимать на буквы. Я наблюдала за его лапой и ждала привычного «ЕШЬ ЕЩЁ» или «ДА». Он писал медленно, со скрипом картона, и каждое движение отзывалось у меня в животе.

На доске под его лапой медленно сложилось: «КТО. ЭТО».

Глава 4. Коптильня пахнет как улика

Пёс не помещался на заднем сиденье моего «Поло». Я расстелила там плед, откинула передние кресла как могла, но он залез, повернулся, устроился, и стало ясно, что его задние лапы занимают половину салона, а голова сама собой тянется вперёд, между сиденьями, и упирается мне в плечо. Через двадцать минут пути, когда мы выбрались из города на Зеленоградское шоссе, он сдался, положил тяжёлый тёплый подбородок мне на плечо и закрыл глаза. Я вела машину, как ведут сапёры телегу с динамитом, и не смела пошевелить ни одной мышцей, кроме тех, что нужны для руля.

– Если ты сейчас заснёшь у меня на ухе, – сказала я вполголоса, – то я въеду в первое же дерево, и тогда в хронике напишут, что проклятие снялось само, потому что некому было проклинать. Не спи, Богдан. Рассказывай мне про дорогу.

Он не мог рассказывать, но фыркнул мне прямо в воротник, и я поняла, что он не спит. До шлагбаума нацпарка мы ехали молча, и лишь у самого въезда на Куршскую косу, где в крошечной будке сидела кассирша в серой пуховой жилетке, у меня началась настоящая работа.

– Легковая, двое, – сказала кассирша, не отрываясь от кроссворда. – Две тысячи с машины. Что с собакой?

– А что с собакой? – переспросила я чересчур высоким голосом. – Он… у нас без собаки не бывает. Это такой маленький, домашний.

Кассирша подняла голову, посмотрела на заднее сиденье, где над моим плечом возвышалась серая морда размером с хороший чемодан, и на секунду забыла про кроссворд.

– Ох, и это маленький? – уточнила она.

– Скромный, – сказала я. – Он у меня скромный, просто широкой кости. Скажите, а если считать, что это не собака, а, допустим, часть багажа? Я имею в виду, багаж ведь не облагается? Мы едем недолго, только на день, в Морское, мне нужно в гости.

– Багаж у нас до тридцати килограммов, – задумчиво сообщила кассирша. – А вот это, по-моему, сорок пять. Ладно. За собаку с вас сто рублей, это тариф для четвероногих. Только не оставляйте её в лесу, там у нас лоси, и с лосями она не справится.

– Он справится, – пробормотала я, расплачиваясь, и почувствовала, как пёс мне в плечо издал короткий хриплый звук, подозрительно похожий на смех.

***

Зеленоградск мы проехали в начале двенадцатого. У рыбного рынка, где мокрые чайки дрались за картонку, пёс вдруг поднял голову, шумно втянул воздух и опять уткнулся носом мне в плечо, и я без доски поняла, что он узнал место: здесь его поймали, в тот день, когда он украл со стойки копчёного леща. Мне стало смешно и грустно одновременно. Огромный Альфа, глава стаи, которого, по его же словам, боятся вся коса и половина Самбии, и пять дней в приютской клетке из-за рыбы.

– Хм, – сказала я как можно мягче. – Ты не переживай. Я бы тоже украла, если бы сутки не ела. Скажем так, это была вынужденная экспроприация.

За шлагбаумом дорога потекла в сосны. Они стояли по обе стороны ровные, мокрые, тёмные, и между ними просвечивали белые языки дюн, на которые мокрый снег ложился тонким серым одеялом. Я не была на косе много лет, с бабушкиных времён, когда мы ездили сюда на Троицу собирать ландыши, и теперь с удивлением ловила себя на том, что у меня в горле стоит не страх, а что-то вроде узнавания: запах хвои, холодный морской воздух из приоткрытого окна, шорох шин по мокрому асфальту. Ветер гнал по дороге песок, и он стучал по стеклу сухо и дробно, как горсть мелкой крупы.

Пёс то и дело поднимал голову, вертел носом, будто разбирал в воздухе слова, и в какой-то момент потянул меня зубами за рукав, не больно, а требовательно. Я сбросила скорость.

– Что? Направо?

Он ткнулся носом в боковое стекло. Справа открылся узкий съезд, почти незаметный между соснами, с облупившимся указателем «Морское, четыре километра». Я свернула, и он опять замер, прислушиваясь, но уже расслабленно, как человек, который возвращается домой и знает каждый поворот.

Морское оказалось маленьким тихим посёлком с рыбацкими домами, голыми яблонями, заборами из почерневших досок и запахом дыма, который стоял над крышами, как будто сам воздух тут был немного копчёный. Кое-где горели окна, на веревках висели рыбацкие сети, а по пустой улице шёл мужчина в телогрейке с ведром. Богдан зарычал беззвучно, одним дыханием, и я сразу свернула на боковую улицу, не дожидаясь указаний.

Нужный дом стоял на самом краю посёлка, у леса, и мне хватило взгляда, чтобы понять: хозяйский. Большой, двухэтажный, из красного кирпича и тёмного дерева, с высоким крыльцом и широкой верандой, рядом, во дворе, длинный сарай с трубой, из которой не шёл дым. Над калиткой висела вывеска «Ольха», вырезанная из цельной доски, а на двери крыльца была наклеена косая полоса широкого жёлтого скотча, и на ней шариковой ручкой нацарапан какой-то знак: то ли круг, то ли волчья лапа.

– Это что? – спросила я, останавливая машину за соснами, метров за сто. – Это полиция?

Пёс покачал головой, как человек, и оскалился. Я поняла без доски: это стая. Они опечатали его дом, как опечатывают вещи умершего.

***

Мы вошли с задней стороны, через дверь коптильни. Замок на ней был старый, навесной, и Богдан показал носом на нижнюю бочку у стены, где под днищем лежал ключ на проволочке. Внутри оказалось темно, пахло копчёной рыбой, ольховым дымом и мокрым деревом, так густо, что у меня сразу защипало в носу. Вдоль стен висели на крючках серебристые связки угрей и лещей, на длинных столах лежали ножи и доски, а в глубине тянулась кирпичная камера с чёрной железной дверью, в которой могли поместиться человек десять.

– Ну, – сказала я шёпотом. – Показывай. Где твоя хроника? Мы ведь не за угрями приехали.

Пёс пересёк помещение, ткнулся в железную дверь камеры лбом, и я потянула её на себя. Внутри было как в печи: стены чёрные, покрытые толстым слоем копоти, потолок в крюках, а в воздухе висел такой плотный запах дыма, что слезились глаза. Богдан остановился у дальней стены, поднял морду и носом показал на кирпич на уровне моего плеча.

– Ох, этот? – Я нашарила его пальцами. – Так, он шатается. Подожди, у меня есть нож, я нож взяла со стола.

Кирпич вышел с негромким стуком. За ним, в тёмной нише, лежала плоская жестяная коробка из-под печенья, перетянутая бечёвкой, и когда я вытащила её, руки у меня оказались чёрными по локоть. Внутри, завёрнутая в чистую холщовую тряпку, лежала книга. Толстая, тёмная, в кожаном переплёте с потрескавшимся корешком, с латунной застёжкой, сделанной в виде ольхового листа. Я откинула застёжку и открыла первую страницу.

Чернила выцвели до цвета ржавчины, строчки лежали густо, с наклоном, с завитками, с хвостиками, как лес в тумане. Куррент. Старый, настоящий, с буквами, которые для постороннего глаза сливаются в чёрную вязь. Я невольно замерла и вдохнула: у меня на глазах, на первой же странице, всплыло слово «Эрлен», и ещё какие-то даты, тысяча семьсот восемьдесят седьмой год, и больше я уже не слышала ничего.

– Господи, – сказала я. – Ну надо же, какая красота. Богдан, это же музей. Ты хоть понимаешь, что у тебя в стене лежало? Да за такое в архиве руки целуют, а ты держал её в камере с угрём…

Он вдруг навострил уши и замер. Я не успела договорить, потому что снаружи, из-за двери коптильни, послышался звук мотора. Сначала один, потом второй, тяжёлый и низкий.

***

Я не знаю, как мне удалось спрятать нас обоих. Я захлопнула коробку, засунула её в сумку, подхватила пса за ошейник и потащила в глубь камеры, в самый угол, в тень, за ряд пустых вешал. Закрыла железную дверь, оставив крохотную щель, и села на корточки, обняв его за шею. Он дрожал, плотно прижимаясь ко мне боком, и я чувствовала через шерсть каждую мышцу.

Снаружи хлопнули дверцы. В щель мне было видно кусок двора, чёрный «Ленд Крузер» с мокрыми от снега колёсами и серый УАЗ «Патриот», тот самый, про который говорила Лора. Из УАЗа вышел мужчина с бритой головой и шеей борца, и я узнала его сразу, как узнают в толпе человека с чужой фотографии. С ним были двое молодых парней в кожаных куртках, которые остались у машины и молчали, как мебель.

Из «Ленд Крузера» вышел третий. Невысокий, плотный, в тёмном пальто и вязаной шапке, из-под которой выбивался седой ёжик. Очки на шнурке болтались у него на груди, а когда он повернул голову, на левой ладони, державшей ключи, я увидела белый бинт. Шёл он неторопливо, мягко, как человек, который никуда не опаздывает, потому что опаздывать не привык.

– Филат, посмотри в коптильне, – сказал он негромким, мягким голосом. – Только аккуратно, ничего не трогай. Я не хочу, чтобы кто-то говорил, что мы здесь хозяйничали.

– Станислав Игоревич, там уже смотрели, – лениво отозвался бритый. – Дом чисто. Сюда он не придёт.

– Придёт, Филат. – Тот, кого назвали Станиславом Игоревичем, остановился у бочки и погладил её ладонью, словно лошадь. – Если мальчик жив, он придёт к Кругу. Не раньше и не позже. И нам с вами надо, чтобы к тому времени всё было готово. Проверьте двери, пройдитесь по участку, и поедем.

Филат шагнул в мою сторону. Я зажмурилась, а Богдан в моих руках перестал дышать. Шаги прошли мимо камеры, остановились у стола, послышался звон: Филат что-то перебирал, ставил, поднимал. Запах ольхового дыма, которым я пропиталась до последней нитки, пахнул так густо, что я подумала: если у них хороший нюх, он нас учует, и ничто нас не спасёт. Коптильня пахнет как улика. Каждая моя нитка пахла как улика.

Станислав Игоревич подошёл к самой щели, и я увидела его так близко, что могла бы дотронуться. Тонкое умное лицо, спокойные серые глаза за стёклами очков, чёткие складки у рта. На шее на кожаном шнуре висела капля янтаря размером с грецкий орех, тёмная и мутная, как будто внутри плавала красная нитка. Он поправил очки и, не глядя в нашу сторону, потёр бинт, словно рана саднила.

Я смотрела на этот янтарь, потому что не могла на него не смотреть. В голове у меня звучало только одно: запомнить. Запомнить бинт, запомнить шнурок, запомнить слово «мальчик».

– Поехали, – сказал он наконец. – Здесь холодно.

***

Они уехали не сразу. Минут десять звучали голоса, потом хлопнули дверцы, потом заурчали двигатели, и гул, удаляясь, растворился в соснах. Я сидела на корточках в тёмной камере, и ноги у меня затекли так, что я не сразу смогла подняться. Рядом всё ещё дрожал Богдан, и дрожал он не так, как дрожат от злости. Я ждала, что он рванёт к двери, зарычит, бросится за машиной, но он не двигался, а только прижимался ко мне, как прижимается ребёнок после ночного кошмара.

– Эй, – сказала я шёпотом. – Эй, ты чего? Они уехали. Всё.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.